Судьба старой дилеммы

<Фрагмент>

Серьезные возражения, направленные против основных пунктов программы логического позитивизма, возражения, на которые так и не было найдено убедительного ответа, привели это направление философской мысли к глубокому кризису. Неутешительные итоги тридцатилетнего существования неопозитивизма подвел ветеран физикалистского анализа К. Поппер в предисловии 1959 г. к английскому изданию своей старой книги «Логика открытия». Приходится признать, пишет Поппер, что метод логического анализа, который оказался столь эффективным при обосновании математики и при устранении логико-семантических парадоксов, оказался совершенно непригодным для устранения философских парадоксов, которые имеют совершенно иную природу.

Тем самым Поппер признает теоретическую несостоятельность элиминации «метафизики» с помощью разработанных позитивистами логико-семантических критериев. Он идет и дальше, отмечая, что потерпела неудачу и попытка моделировать язык науки с помощью различных систем искусственных языков, сконструированных К. Гемпелем, Дж. Кемени и Р. Карнапом. Эти системы оказались «слишком бедными, чтобы быть похожими на язык настоящей науки» 1. Не лучших результатов добились и сторонники интерпретации науки в терминах обыденного языка. В этих условиях Поппер рекомендует изучать структуру науки без догматических предпосылок логического эмпиризма, следуя «историческому методу» и принимая во внимание «развитие научного знания», а также всю философскую традицию осмысления методологии науки, представленную именами

¹ Popper K. The Logic of scientific discovery. London, 1959. P. 21.

«Канта, Уэвелла, Милля, Пирса, Дюгема, Пуанкаре, Мейерсона, Рассела и Уайтхеда, по крайней мере на некоторых стадиях его философской эволюции»².

Нельзя не признать, что попперовская диагностика современного состояния позитивистской логики науки совершенно справедлива. Добавим, что марксистская критика, опираясь на методологические установки материалистической диалектики, давно уже указывала на принципиальную ограниченность позитивистского подхода к анализу научного языка.

Но основная масса бывших адептов логического анализа науки эволюционировала в ином направлении — в том направлении, которое было предуказано изменением философской позиции Людвига Витгенштейна. В истории неопозитивизма Витгенштейн появляется дважды: как автор «Логико-философского трактата», подготовившего платформу логического позитивизма, и как автор «Философских исследований», где изложено его новое кредо, кредо лингвистической философии, которая и поныне доминирует в британской академической философии.

В методологическом отношении взгляды позднего Витгенштейна можно характеризовать как продолжение и коррекцию позиции логического эмпиризма. Продолжение состоит в том, что в обоих случаях непосредственно данным и подлежащим анализу является язык, лингвистическая реальность, а не какие-либо субъективные данные вроде юмистских впечатлений или чистого опыта эмпириокритиков, который, как его ни очищай, все равно остается чем-то связанным с психикой человека — «центрального члена» координации. А вот слово и система слов, образованная по строгим правилам синтаксиса, есть уже нечто объективное, отчужденное от человека, то, что существует наравне со всеми остальными факторами внешней среды, окружающей человека.

Однако программа логического эмпиризма исходила из того, что язык может быть правильным и неправильным и что, в частности, в обыденном естественном языке много логических несуразиц, прикрытых грамматически правильной формой. Логический эмпиризм был, стало быть, критикой языка, причем конструктивной критикой, преследовавшей цель создать логически совершенный язык, язык науки. Но что такое «правильный язык» и что такое «неправильный»? Правильный язык — это тот, который соответствует логическим критериям, логическим нормам, прежде всего принципу дихотомии аналитических и синтетических высказываний и верификационной концепции значения.

² Ibid. C. 22.

Но правильны ли сами эти нормы? Как показал опыт, их применение не привело к однозначным результатам, а на место устраненных с их помощью трудностей встали новые и ничуть не меньшие, чем прежде. Значит, что-то оказалось неправильно в самих предпосылках и даже не в них самих, а гораздо глубже — в предпосылке всех предпосылок. А такой предпосылкой была сама идея нормативных критериев значения, логических норм языка. Пересмотром этой идеи и занялся Витгенштейн.

Иначе говоря, доктрину позднего Витгенштейна можно рассматривать как результат радикальной самокритики, которая в конечном счете далеко увела Витгенштейна не только от догматики логического эмпиризма, но и заставила его порвать с задушевным убеждением всех философов позитивистской ориентации от Конта и до Карнапа. Убеждение это состояло в том, что позитивистский стиль мышления превращает философию из беспочвенной метафизики в науку, способную помогать другим наукам и двигать вперед человеческое познание. Витгенштейн оспорил и отверг после длительных размышлений саму концепцию теоретического значения философии вообще, всякой философии, а не только «метафизики».

Но сначала насчет самокритики. Вот как один из современных британских аналитиков характеризует отношение «Логико-философского трактата» к «Философским исследованиям». «Теория, которая непрерывно подвергается атаке (в «Философских исследованиях», — M. K.), — это теория языка, изложенная в «Трактате»... Ибо это весьма общая и абстрактная теория, которая не принимает во внимание различий между разнообразными типами предложения. Те из них, которые не охватываются теорией, объявляются лишенными смысла... а те, которые охватываются, трактуются без достаточного уважения к их индивидуальным характеристикам. Ибо то, что Витгенштейн хотел сделать, — это проникнуть в сущностную природу предложений, и он принимал их случайные характеристики не за средства к пониманию, а за препятствия, которые философ должен отбросить. В результате получилась весьма неэмпирическая теория языка»³.

Итак, глубокая неудовлетворенность Витгенштейна доктриной логического эмпиризма проистекала из сознания (сначала смутного, а затем концептуально оформившегося в набросках, составивших посмертно опубликованные «Философские ис-

³ Williams B. and Montefiore A. (eds.). British Analytical Philosophy. London, 1967. P. 34.

следования») абстрактно-теоретического, можно даже сказать, спекулятивного характера этой теории. Принцип эмпиризма требует уважения к фактам, в данном случае — к фактам языка, а сама процедура моделирования логически совершенного языка предполагала подчинение фактов целой серии допущений, которые требуются для того, чтобы сконструировать формальную систему.

В частности, идея идеального языка возникла на основе логицизма, отстаивавшего первичность логики по отношению к математике. Но даже если это так, а с точки зрения позднего Витгенштейна это совсем не так (см. его «Заметки по основаниям математики»), то нет оснований считать логику первичной по отношению к языку, разумея под языком, конечно, не формализованную систему, а естественный язык — тот язык, которым пользуются люди в целях коммуникации в процессе повседневной жизни. По отношению к естественному языку неправомерно также заранее задавать критерий значимости осмысленных высказываний, каким бы этот критерий ни был: «верификационным» или «операциональным».

Одним словом, смысл всех этих и многих других рассуждений аналогичного порядка клонился к тому, что эмпиризм требует исходить из лингвистической реальности, изучать факты, которые ее составляют, а не перекраивать их в соответствии со своими теориями. Лингвистическая реальность вовсе не обязана соответствовать требованиям нашей логики, тому или иному скелету формально-логического исчисления (в «Логико-философском трактате» Витгенштейн как раз пытался «приспособить» реальность к языку Principia Mathematica, дать онтологическую интерпретацию этой формализованной системе). Например, язык Principia Mathematica, Уайтхеда и Рассела, построенный в соответствии с теорией типов, имел в своем составе «атомарные», «молекулярные» и т. д. предложения. Но из того, что этот язык оказался весьма эффективным при решении ряда специально логических задач (например, при устранении парадоксов теории множеств), вовсе не следует, что действительно употребляемый нами язык обладает именно такой структурой. В частности, замечает Витгенштейн, в естественном языке невозможно выделить атомарные предложения.

Но в этом пункте рассуждения лингвистического аналитика прямо-таки провоцируют возражение, которое представляется аксиоматически достоверным и ответ на которое лучше всего характеризует основную методологическую установку позднего Витгенштейна и его последователей. Возражение состоит в следу-

ющем: разве естественному языку не свойственна многозначность терминов, запутывающая двусмысленность грамматических конструкций, незаметные, но существенные сдвиги смысла в одних и тех же предложениях, употребляемых в различных контекстах, — одним словом, все то, что мы называем «логической нестрогостью» естественного языка? Как мы помним, расселовская теория дескрипций, послужившая прообразом всех остальных попыток этого рода, возникла именно от стремления устранить очевидные недостатки обыденной речи.

Ответ Витгенштейна на первый взгляд поражает своей парадоксальностью, но на самом деле прямо вытекает из всего хода его предыдущих рассуждений: то, что называют «логической нестрогостью», есть на самом деле выражение природной «подвижности» нашего языка, вернее сказать, «языков», ибо наш язык больше похож на семью отпрысков единого кормя, обладающих «семейным сходством», чем на единое разветвляющееся древо. Наше представление о недостатках естественного языка опять-таки связано с попыткой навязать языку единую логику, тогда как в действительности мы имеем дело с различными правилами разных «лингвистических игр», и формально-логические исчисления образуют только один класс таких игр, не имеющий никакого права посягать на остальные игры.

Посредством термина «лингвистическая игра» Витгенштейн старается дать понять, что собой представляет язык, с его точки зрения, так что особенности игры как явления должны пролить свет на особенности лингвистической реальности. Первая особенность игры состоит в том, что в нее играют. Это значит, что язык есть система действий (слово есть дело), а не высказываний, отображающих реальность, как утверждал Витгенштейн в «Логико-философском трактате», и вообще не обозначающих чего-либо иного, будь то чувственные данные или физические объекты. Во-вторых, что, собственно, представляет собой парафраз первого вывода, игра есть некоторая замкнутая на самое себя система, т. е. она не предполагает соотнесения с чем-либо другим за ее пределами (хотя de facto игры могут «пересекаться»); игре нет дела ни до чего, кроме себя самой, ее смысл в ней самой, и она сама по себе цель. Это обстоятельство еще более подчеркивает самодовлеющий характер языка и отсутствие у него какой-либо отражательной функции или изоморфных свойств с какой-либо предметной областью, если бы таковая существовала.

В-третьих, всякая игра имеет свои собственные правила (хотя и не исключены частичные совпадения с правилами других игр). Из этого следует, что нет единой универсальной игры, одних

и тех же правил и одинаковой стратегии достижения цели. А это в свою очередь имеет кардинальное значение для понимания соотношения логики и языка в новой доктрине Витгенштейна. Логику можно уподобить правилам в игре и до некоторой степени оптимальному варианту стратегии, но по правилам именно данной игры. Эта аналогия, таким образом, накладывает вето на все попытки подчинить язык единой логике, поставить логику над языком.

В-четвертых, ход игры предполагает последовательность действий, и каждое такое действие можно уподобить высказыванию или предложению, а значение этого предложения определяется так же, как и значение игрового хода, т. е. его функцией в игре, его вкладом в достижение цели. Отсюда и так называемая диспозициональная, или функциональная, теория значения в противовес традиционной трактовке значения в логическом эмпиризме.

Памятуя о метафизических заблуждениях молодости, Витгенштейн вообще старается избежать какой-либо систематической теории языка, всякого вообще отвлеченного теоретизирования. Поэтому его теорию каждому читателю «Философских исследований» приходится реконструировать, отчаявшись найти у самого автора связную цепь теоретических предпосылок. Да Витгенштейн, видимо, и не согласился бы признать, что таковые у него есть. Понятие лингвистических игр вводится им внезапно, без предварительного обоснования и без последующего анализа его в общей форме. Такой способ введения теоретических посылок Э. Геллнер, автор известной у нас книги «Слова и вещи», удачно назвал «методом О'Генри в философии».

Интерес Витгенштейна сосредоточен на перечислении и анализе различных примеров лингвистических игр. Но, употребив здесь слово «анализ», мы сразу же должны сделать оговорку, что теперь для Витгенштейна это уже не формально-логический анализ, а просто определение «фактического употребления» слов и выражений. Вот собственное его высказывание по этому поводу: «Философия <...> не должна вторгаться в фактическое употребление языка; она в конечном счете только описывает его» 1. Пожалуй, с точки зрения автора «Философских исследований», это единственное общетеоретическое высказывание в его труде, да и то смысл его в отрицании всякой теории и в рекомендации всем философствующим покориться «господину факту», не мудрствуя лукаво. Все остальное — лишь пояснение,

⁴ Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Oxford, 1953. P. 48.

перечень иллюстраций, которым не следует придавать универсального значения.

Теперь остается выяснить, как все же определяется «фактическое употребление», как находятся лингвистические факты, которые сами по себе (согласно мнению лингвистических аналитиков) без дальнейшего обобщения или анализа способны покончить со всеми теоретическими спорами и (теперь уже окончательно и навсегда) вырвать с корнем чертополох метафизики. На этот счет у приверженцев лингвистической философии имеется, как известно, «доказательство от парадигмы». Вот одна из формулировок этого доказательства: фактическое употребление, расшифровывает лапидарный тезис своего учителя М. Макдональд, означает «...использование этих слов (значение которых нас интересует. — M.K.) в течение достаточно длительного времени достаточным числом серьезных и ответственных лиц, знающих соответствующий предмет исследования или соответствующие обстоятельства» 5 .

Итак, лингвистический анализ есть процедура выяснения фактического употребления слов репрезентативной группой говорящих по интересующему нас предмету. Но если репрезентативная группа, как ни ужасно это допущение для поклонников метода экспертной оценки, все же ошибается, тогда что? Ответ лингвистических философов обескураживающе прост: этого не может быть, так как если некоторое выражение фактически употребляется, то бессмысленно уже говорить, истинно оно или нет. Вопрос об истине есть вопрос факта, а не нормы. Если мы констатируем факт, то сомнениям приходит конец, ибо нет высшей инстанции, перед судом которой мог бы предстать факт. Действительно, высказывать нечто и высказывать истину — это одно и то же, хотя, разумеется, мы можем ошибаться в установлении факта этого факта, т. е. ошибаться относительно того, каково именно фактическое употребление того или иного слова или выражения.

Теперь перед нами кредо эмпиризма, законченного и совершенного в своем роде, действительно «радикального», чтобы не сказать «ползучего», лозунгом которого являются факты, и только факты, и никаких теорий. По чистоте проведения принципа эмпиризма лингвистическая философия неизмеримо превосходит логический позитивизм и потому может рассматриваться как естественное завершение всего эмпирического движения со времен Беркли и Юма. Завершение именно в том

⁵ *Хилл Т. И.* Современные теории познания. М., 1965. С. 488.

смысле, что здесь мы находим несомненно наиболее крайнюю форму выражения методологического подхода эмпиризма, так что, собственно говоря, дальше уже идти некуда. Пожалуй, у нас есть основание сказать именно так, несмотря на то, что нет предела человеческой изобретательности и в порождении истины и в порождении ошибок.

Но Витгенштейн, как нам кажется, исчерпал логику принципа до дна. Линия идеалистического эмпиризма уперлась в тупик лингвистического анализа. Мы говорим: «в тупик» не ради красного словца или звонкой фразы, призванной заменить настоящий критический анализ. Мы имеем в виду, что если однажды принять эту точку зрения, то невозможно дальнейшее углубление позиции в рамках эмпирической методологии, невозможен путь имманентной критики, следуя по которому Витгенштейн, например, перешел от «Логико-философского трактата» к «Философским исследованиям». Анализ и каталогизирование фактов обыденного языка — задача бесконечная и беспросветная, беспросветная потому, что, сколько бы лингвистических игр мы ни описали, мы ни на йоту не приблизились бы к решению действительно важных философских вопросов, а узнали бы только, что «люди думают» и как они предпочитают выражаться.

Конечно, возражения вызывает не сама задача изучения фактического употребления обыденного языка, и можно, пожалуй, согласиться, что Витгенштейн открыл эту сферу исследования, так как до него ни один философ не выдвигал эту проблему на передний план исследования. Безусловно, изучение обыденного языка занимает определенное место в решении философских проблем и проливает дополнительный свет на них, способствуя многосторонности анализа. Нельзя согласиться с теми условиями, которыми Витгенштейн «обставляет» эту программу, и в особенности с наложением запрета на критику обыденного языка, ибо этот запрет противоречит установкам научного мышления.

Интерпретация науки составляет наиболее уязвимое место доктрины позднего Витгенштейна. Именно это обстоятельство вызвало, как известно, резкую критику лингвистического анализа со стороны престарелого Б. Рассела, заявившего в предисловии к книге Геллнера, что «лингвистическая философия, заботящаяся только о языке, а не о мире, подобна мальчику, который предпочитает часы без маятника лишь по той причине, что без него они ходили бы легче, чем прежде, и в более веселом темпе, хотя они уже не показывали бы времени» 6.

⁶ Геллнер Э. Слова и вещи. М., 1962. С. 28.

Рассуждение Рассела может показаться отвлекающей метафорой, не затрагивающей существа дела. Но это не так. Смысл сравнения в том, что Витгенштейн, отчаявшись преодолеть трудности, возникшие при анализе научного знания, отказался от этой задачи ради гарантированного успеха в решении тривиальных проблем. Пример самого Витгенштейна свидетельствует о том, что применение игровой модели в случае науки не приводит к успеху. Так, в «Заметках по основаниям математики» он утверждает, что логической необходимости в точном смысле этого слова не существует и что логическая связь не «вынуждает» нас сделать определенный вывод, а только «побуждает» к этому.

Такая концепция явно противоречит природе логического вывода, действительно обладающего, если пользоваться психологической фразеологией, «принудительным характером», а не просто «позволяющего» нам прийти к определенному заключению. Это настолько бросается в глаза, что вполне можно понять саркастически уничижительные отзывы патриарха математической логики Рассела по поводу этой концепции. Слабость взглядов Витгенштейна по этому вопросу признается и некоторыми сторонниками лингвистической философии. Так, Д. Пирс пишет по поводу логической доктрины позднего Витгенштейна: «Это, конечно, крайний конвенционализм, теория, которой он избежал в "Трактате". Ибо там он придерживался того взгляда, что, хотя мы обладаем значительной свободой в выборе символизма, структура реальности обязывает нас к тому, чтобы выбор, сделанный в одном пункте системы, связывал нас и в других ее пунктах... Но, когда Витгенштейн отверг онтологию, при помощи которой он объяснял эту связь (логическую необходимость в системе. — M. K.), он, по-видимому, отверг и убеждение в самой этой связи. В результате — чрезвычайно парадоксальная трактовка логической необходимости... Действительно невероятно, что всякий раз, когда мы делаем какой-либо вывод, мы свободны сделать противоположный выбор и отвергнуть свое первоначальное заключение» 7.

Из этого вполне авторитетного свидетельства одного из адептов лингвистического анализа вытекает ряд следствий, которые в общем близки к выводам марксистской критики. 1. Отвергнув образную теорию языка под предлогом ее «метафизичности», Витгенштейн тем самым лишился возможности дать адекватную

Williams B. and Montefiore A. (eds.). British Analytical Philosophy. London, 1967. P. 37.

интерпретацию связи логического следования. 2. Игровая модель языка в приложении к анализу логической проблемы равнозначна восстановлению конвенционализма со всеми присущими ему аксессуарами психологизма и волюнтаризма (логический вывод есть «мой выбор»).

